

Так что есть место для робкой надежды, что в бывшем СССР мы видим не триумф антинауки, а лишь её разоблачение и арьергардные бои. К сожалению, как мы ещё увидим, положение в этой сфере на Западе не даёт оснований для подобного оптимизма.

#### **IV.5. «Художественные» определения**

*Смертью у нас называют сокращение функциональных единиц.*

*С. Лем. Звёздные дневники, Путешествие 13*

*Метафора... У лжи десятки таких подпольных кличек!*

*С. Довлатов. Компромисс 5-й*

Нечёткость логики предполагает нечёткость понятий, которыми такая логика оперирует. Ясное и операциональное определение — главное открытие Сократа. Не за это ли его не любят интуитивисты — от Ф. Ницше (*«Рождение трагедии из духа музыки»*) до Л. Н. Гумилёва, причислившего его к теоретикам «негативных философий» (1997: 545) вместе с другими фигурами «косевого времени»?

Правда, это общая беда гуманитарных наук, где определяемый объект может протестовать против того, как его определили (ср.: Лефевр 2000: 7). В физике теплопроводность не потребует, чтобы отныне её понимали как-то иначе. А вот исследуемые люди могут активно вмешаться в процесс своего исследования и сами постановить: отныне мы, например, — не этнографическая группа, а этнос (или нация, или как-то ещё), или отныне наша страна называется не Бирмой, а Мьянмой, — и учёный не может эффективно возражать, на какую бы теоретическую базу он ни опирался. Кроме того, не везде такая теоретическая база вообще достаточно разработана. Поэтому, кстати, каждый автор, пишущий, к примеру, о культуре, должен в начале работы указать, как он это слово понимает: например, полностью отождествляет её с цивилизацией, как А. Дж. Тойнби, или полностью ей противопоставляет, как О. Шпенглер. Речь не об обмане читателя: определение культуры, удобное для искусствоведа, для археолога может оказаться недостаточно операциональным (то есть неподходящим для решения тех задач, которые он ставит перед собой). Именно поэтому у мифа уже 500 определений, а у культуры — 1500.

Мы уже видели, что Розенберг полностью пренебрегает этим требованием. Определения расы у него нет вовсе (см. I.4), определение мифа — неудовлетворительно и нарушается самим же автором в том же абзаце, в котором дано (см. I.8). Повторять эти аргументы нет резона.

Мы видели также (II.4, п. 2; Гумилёв 1997: 28), что Л. Н. Гумилёв уклоняется от внятного определения этноса. Однако с другими понятиями у него тоже немало странностей. Заглянем в его *«Словарь понятий и терминов»* (Гумилёв 1997: 605—611), по сути своей являющийся сводом определений. Чем-то он напоминает Даниила Андреева с его болезненной фантастикой: *«Крагр»* — слой, где происходят битвы уицраоров» и т. п. Конечно, Л. Н. Гумилёв — не Д. Л. Андреев, у него нет всех этих «затомисов» и «брамфатур», непонятно из какого языка взятых. Термины вроде бы традиционные — либо принятые в науке, либо составленные по научным правилам, а вот комментарии к ним...

*«Время историческое»* — процесс управления энергетических потенциалов между элементами этносферы, нарушаемый пассионарными толчками» (: 605).

«Идеал — далекий прогноз, иногда иллюзия» (: 606).

«Смерть — способ существования биосферных феноменов, при котором происходит отделение пространства от времени» (: 609).

«Событие — разрыв системных связей» (: 609).

«Упрощение — уменьшение плотности системных связей в этнической системе» (: 609). Соответственно: «Усложнение — увеличение плотности системных связей в этнической системе» (: 610).

«Деяния — поступки, являющиеся результатом свободного выбора (сознательной деятельности) человека (в отличие от явлений)» (: 606).

«Явления — результаты влияния биосферы на поведение человека и этнического коллектива» (: 609).

Оказывается, самые обычные слова с устоявшимся значением следует понимать не в принятом смысле, а в каком-то другом, очень запутанном. Что такое, например, «отделение пространства от времени»? Всегда ли явление, событие, идеал — то, что под ними имеет в виду автор?

В этом же словаре читаем: «Этногенез — весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием энтропийного процесса потери пассионарности» (: 611). Мы уже говорили (II.1), что такое определение противоречит прямому значению слова — «происхождение народа». А ведь это — одно из основных понятий всего творчества Л. Н. Гумилёва!

Такая манера определений открывает путь для логических ошибок — *учетверения посылок*, когда одно и то же слово понимается по-разному в одном и том же рассуждении (классический пример — греческий «рогатый силлогизм» с подменной смысла понятия «то, чего не терял»: «То, чего ты не потерял, ты имеешь; рогов ты не потерял; следовательно, у тебя есть рога»), и особенно *подмены тезиса*, когда сначала доказывалось одно, а затем доказанным объявляется нечто другое. Последний случай особенно опасен: если учетверение посылок силлогизма может случаться и по незнанию или небрежности, то подмена тезиса обычно считается преднамеренным софизмом. Достаточно вспомнить обычное в политической демагогии жонглирование разными значениями слова «народ», о чём речь ещё впереди.

Нельзя согласиться и со следующим: «Ритм этнического поля — та частота колебаний этнического поля, к которой этническая система адаптировалась посредством стереотипа поведения» (: 608). Такое определение хоть что-то давало бы науке лишь в случае, если бы был предложен какой-то конкретный метод измерения этой «частоты колебаний этнического поля», притом поддающийся независимой проверке. Но метод не предложен, а потому и определение вносит не ясность, а лишь иллюзию ясности.

Частный случай «художественных» (то есть ненаучных) определений — заголовки: ведь и их задача — определение основного содержания того, что за заголовком следует. Все, кто читал Л. Н. Гумилёва, знают, как трудно найти в его книгах нужное место по оглавлению. Возьмём хотя бы «*Этногенез и биосферу Земли*». Кто может сказать, о чём должна идти речь в параграфах: «Вопреки» (Гумилёв 1997: 433), «А в Китае» (: 491), «И всюду так» (: 529), «Нет!» (: 545)?

Научный заголовок должен быть прежде всего точен, даже если он и скучен. Это — элементарная вежливость автора по отношению к читателю, слишком зантому, чтобы заново перечитывать целиком давно прочитанную книгу ради необ-

ходимой ссылки. Конечно, возможен компромисс между научной сухостью и художественной красотой, и многие авторы (учёные и популяризаторы науки) этим секретом владеют. Но Л. Н. Гумилёв (1990: 6) претендует на простую замену строгого «академического» языка «забавным русским слогом». Нарушение правил научного дискурса, превращение исследования в беллетристику — один из главных признаков антинауки. И ссылка на Геродота: «его “История” дожила до нашего времени, а труды оскущителей науки забыты» (: 7) — ничего не меняет. Ведь слава — лишь побочный результат научной деятельности, а сама эта деятельность совершается совсем не для того. Да, забыты имена многих замечательных учёных, но забыты и их ошибки (в исследовании нового без ошибок не обходится никогда), а их строго выверенные идеи вошли в труды следующих поколений, стали кирпичиками в храме науки. Современный обыватель обычно не знает, кто именно открыл полиэтилен и кто построил первый компьютер, но пользуется и тем, и другим. Ведь наука — сфера объективная, копирайт на законы природы принадлежит самой природе, а не первооткрывателю. И самое большее, на что он может рассчитывать, — скромное сознание, «что тут и моего хоть капля мёду есть». А погоня за научной славой как высшей целью, стремление любой ценой потеснить Эйнштейна как раз и толкает исследователя к антинауке. Ведь, по словам Эмиля Германа, «внести своё в таблицу умножения можно, только переврав её».

Разумеется, были авторы, умевшие сочетать научную точность с блестящим литературным стилем: таковы В. О. Ключевский, С. М. Соловьёв. Но в общем и целом есть две категории авторов. Есть исследователи — их задача выражаться предельно точно, пусть даже их сочинение будет понятно лишь немногим специалистам. И есть популяризаторы — авторы, которые разъясняют неспециалистам достижения науки, *но сами этих достижений не создают*. Честь им и хвала! Например, гениальным популяризатором математики и физики был Я. И. Перельман. По его книгам до сих пор учатся поколения школьников. Но тем-то он и велик, что доносил до публики идеи, например, Циолковского — с корректной отсылкой («заинтересовавшийся читатель пусть обратится...»), но без претензий: «забудьте Циолковского — слушайте меня»!

Напоследок отметим особый случай: переопределение предмета своей науки — «... этнологии, науки о месте человека в биосфере» (Гумилёв 1990: 205); «*Этнология* — географическая наука, изучающая становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в историческую эпоху» (Гумилёв 1997: 611). За все предшествующие сто лет, что существует этот термин, так его никто ещё не определял. Представьте себе человека, всерьёз говорящего: «А науку о душе я буду называть химией...». Этот случай стоит учесть особо, поскольку в гуманитарной сфере такая подмена случается часто. Известно, что каждое направление антропологии по-своему отвечает на вопрос, что такое антропология: от чисто физической до чисто культурологической, от отождествления её со всем гуманитарным знанием у И. Канта до предложения вообще упразднить этот термин (ввиду его неясности) у Л. Уайта. Кроме того, именно в гуманитарной сфере особенно часто предлагаются новые «-логии», нередко десятками и обычно без должного обоснования.

Всё это поразительно напоминает нацистский «новояз» с его возвратом от семантического использования слов к магическому — для прямого воздействия на объект (в данном случае — на людей). Как известно, магические приёмы оказы-

ваются действенными лишь тогда, когда механизм их действия сводится к внушению. Эту подмену функций языка подробно анализировал Э. Кассирер:

«Не так давно была опубликована небольшая, но очень интересная книга “Нацистский немецкий язык. Словарь современного германского словоупотребления” <...>. В этой книге перечислены все слова, созданные нацистским режимом. Создаётся впечатление, что всего несколькими словам немецкого языка удалось избежать полной деструкции. Авторы книги попытались перевести эти термины на английский язык, но эта попытка, как мне представляется, не увенчалась успехом. Авторы сумели дать лишь приблизительное толкование немецких слов и фраз вместо их подлинного перевода. К несчастью или, наоборот, к счастью, оказалось просто невозможным передать смысл подобных слов на английском языке. То, что характеризует их, — это не столько содержание и объективное значение, сколько эмоциональная атмосфера, которая окружает и окутывает их. Эту атмосферу надо почувствовать, ибо она непереводаема и не может быть адекватно выражена на языке совсем другого политического контекста» (Кассирер 2000: 582).

Думается, ненаучность работы названных авторов с определениями не нуждается в комментариях. Но наша задача, напомним, — не осудить, а объяснить: как работают такие концепции, в чём их сила и слабость? Манера обращения и Гумилёва, и Розенберга с понятиями характерна как раз для мифологического мышления с его нечёткой логикой. Такое мышление неизбежно в вопросах, которые не могут быть сформулированы научно, но тем не менее подлежат решению. Так, невозможно доказать со всей методологической строгостью, зачем я живу, кого и за что люблю, — но каждый человек решает эти вопросы всю жизнь и всей жизнью. В других случаях для научной процедуры нет достаточных оснований: так, в выборе политических решений (пойти ли на голосование, кому отдать голос) мы довольствуемся лишь дозированной информацией, полная же истина если когда и обнаружится, то, вполне возможно, уже не при нашей жизни — а тогда будет поздно. В подобных условиях мифологическое мышление вступает в свои права, хотим мы того или нет. Но, во-первых, даже в этой своей законной сфере оно не может претендовать на такую же точность выводов, как научное мышление — в *своей*. А во-вторых, мифологическое мышление постоянно стремится нарушить эти рамки и вторгнуться в вопросы, уже доступные научному познанию. И тогда оно легко становится орудием идеологической лжи — независимо от того, входило ли это в намерения самого автора и сумел ли он лично воспользоваться этим результатом.

Из других авторов «художественными» определениями особенно злоупотреблял О. Шпенглер. Уже на с. 157 (введение, ч. 10) читаем: «Сравнительное наблюдение выявляет “одновременность” этого периода с эллинизмом, в особенности “одновременность” его нынешней кульминации — отмеченной мировой войной — с переходом эллинистического периода в римскую эпоху». Между тем лишь на с. 271 Шпенглер объясняет, что именно он называет «одновременностью».

Переопределение важнейших понятий заметно в отрывке:

«Если назвать душу — и притом её прочувствованный тип, а не помысленную и представленную картину — *возможным*, а мир *действительным* — выражения, относительно смысла которых внутреннее чувство не оставляет никакого сомнения, — то жизнь предстанет *геистальтом*, в котором происходит осуществление *возможного*. С учётом признака направления возможное называется *будущим*, осуществлённое — *прошлым*. Само осуществление, сродоточие и смысл жизни, мы называем *настоящим*.

“Душа” есть то, что подлежит осуществлению, “мир” — осуществлённое, “жизнь” — осуществление. Выражения типа “мгновение”, “длительность”, “развитие”, “жизненное содержание”, “назначение”, “объём”, “цель”, “полнота” и “пустота жизни” получают тем самым определённое, существенное для всего последующего, в особенности для понимания исторических феноменов, значение» (Шпенглер 1993: 203, выделено везде автором).

Определения А. Дж. Тойнби остаются в рамках, допустимых для философской работы. Что касается Г. Вирта, то определения — вообще не его стихия. Даже тождество «детей Фрейи» и фризмов лишь навязывается контекстом, но не формулируется явно. У Н. С. Трубецкого (по крайней мере, в его исторических трудах) и В. Н. Дёмина собственных определений нет вовсе.

#### IV.6. Гиполептический метод

*Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,  
Ни связи, — должно ль о том тужить дворянину?  
Довод, порядок в словах — подлых то есть дело,  
Знатным полно подтверждать иль отрицать смело.*

А. Д. Кантемир. Сатира I, 47—50

Несмотря на всё сказанное, сам Л. Н. Гумилёв порой утверждал, что пользуется диалектическим методом. Однако здесь речь скорее идёт не о гегелевской или марксистско-ленинской диалектике, а об одном из древних значений этого слова: *диалектика* поначалу означала спор, *диалектическое* суждение — спорное.

Ещё Аристотель разделил все высказывания на три категории: *аподиктические* — основанные на необходимой связи понятий и потому неопровержимо доказуемые; *диалектические* — вероятностные; и *эристические* (они же *риторические*) — софизмы, лишь внешне похожие на истину и служащие лишь для победы в споре. Крупнейший средневековый толкователь Аристотеля — Аверроэс (ибн-Рушд, 1126—1198) пошёл дальше и разделил всех людей на три категории — по склонности к одному из этих типов суждений: аподиктики — прирождённые философы, способные к подлинному знанию; диалектики — им доступно лишь вероятностное знание, которое они, однако, принимают за истинное; риторики — обыватели, довольствующиеся лишь слепой верой в то, что они вообще что-то знают. Богословы и мистики, по Аверроэсу, попадают в разряд «диалектиков»: без дальнейших доказательств оно принимают за *окончательную* истину то, что всего лишь *возможно*. Критикуя одно из высказываний аль-Газали, Аверроэс писал:

«Это в высшей степени диалектическое рассуждение, не обладающее той связностью, которая присуща доказательствам. Ибо его послышки суть общие понятия, а общие понятия несколько двусмысленны, в то время как доказательные послышки суть понятия субстанциальные и однозначные» (цит. по: Соколов 1979: 271).

Вот в этом-то аристотелевско-аверроэсовском смысле и можно назвать логику наших авторов диалектической (или «гиполептической» — Лурье 1992: 129): сплошь и рядом роль фактов в ней играют допущения, роль доказательств — интуиция автора, а роль законов — возможности. В принципе, есть сферы, в которых нам большего и не дано — из-за недостатка фактов. Но в таких сферах неуместны категорические выводы: «всякая история есть...».